

АННА АХМАТОВА

Попытка воспоминаний

*Антониде Любимовой:
In memoriam*

Услышишь гром - и вспомнишь обо мне...
Ахматова

Моя первая встреча с Анной Андреевной Ахматовой произошла в конце декабря 1962 года в Москве. Литератор Инна Моисеевна Зусманович, знакомая родителей моей жены, зная с их слов о моем увлечении поэзией Ахматовой, любезно предложила представить меня Анне Андреевне. Сама Инна Моисеевна по состоянию здоровья из дома не выходила, и знакомство ее с Ахматовой было телефонным (видимо, Анна Андреевна, не выносившая телефонных бесед, делала для нее исключение). В то же время, Зусманович не менее меня стремилась увидеть Ахматову, а потому, зная о ее вынужденных зимних кочевках, даже как-то решилась предложить ей свое гостеприимство: "Может быть, вы как-нибудь погостили бы у меня", - сказала она Анне Андреевне. И Анна Андреевна ответила: "Может быть..." Новая ленинградская квартира Анны Андреевны практически ей не принадлежала, пребывание в Комарово было ограничено дачным сезоном, прежнее надежное московское прибежище, "легендарная Ордынка", перестало быть постоянным из-за происшедших там семейных перемен. И "бездомная муза" (выражение В. Я. Виленкина) не исключала возможности своего появления под кровом малознакомой поклонницы.

Просьба Зусманович о моем визите не вызвала у Анны Андреевны возражений, и в указанное время я позвонил ей на Ордынку, хотя встреча, через день или два после звонка, была назначена по другому адресу. Помнится, меня поразило, что Анну Андреевну сразу позвали к телефону, не допросив предварительно, в соответствии с советским "хорошим тоном", "кто ее спрашивает". Как Ахматовский "хороший тон", так и божественность Ордынки этого не допускали.

И вот зимним вечером я подхожу к узкому серому дому начала века в стиле модерн, зажтому между двумя советскими домами позднесталинской и раннехрущевской эпохи, на Садовой-Каретной улице. Поднимаюсь на лифте, звоню в дверь и оказываюсь в просторной дореволюционной квартире, превращенной в советские годы в коммуналку с неизбежной соседской гармошкой (на ней наяривали в одной из комнат). Здесь, как я узнал несколько позже, проживала со своей матерью литератор Ника Николаевна Глен, предоставившая приют Анне Андреевне. Несколько мгновений, и я оказываюсь в маленькой вытянутой комнате, окном во двор, где передо мной, в профиль, на низкой тахте, стоящей вдоль стены, сидит Ахматова. Первое зрительное впечатление сильно "разочаровывающее", в Прустовском смысле: полное несоответствие заранее созданному образу. Я, конечно, знал, что Ахматова 60-х годов с трудом соотносится со своими обликами на фотографиях Наппельбаума или образами, созданными Альтманом, Анненковым или Данько. У меня была ее недавняя фотография, на которой она, если не чертами лица, то осанкой, статью походила на Екатерину II. Но это перед объективом фотоаппарата. А сейчас, подобно Прустовскому герою, неожиданно для себя нашедшему, что реальная герцогиня Германтская относится к определенному женскому типу, к которому могут принадлежать, в частности, жены коммерсантов и врачей, я мгновенно констатировал, что старая седая полная женщина, безмолвно, жестом, пригласившая меня сесть, весьма похожа на гимназическую подругу моей бабушки, жену петербургско-ленинградского врача, Иду Борисовну Мандельштам, - даже что-то еврейское в чертах лица проглядывалось (впоследствии, наблюдая старых украинок, я вставил для себя это

"еврейское" в более широкий, южный контекст). И, как почти сразу выяснилось, Анна Андреевна к старости стала туга на ухо, что она, впрочем, не скрывала, а обыгрывала, приставляя ладонь козырьком к уху, чтобы говорили громче.

Разговор явно не клеился. То есть я к нему самым легкомысленным образом не подготовился, не предполагая, что мне будет уготована строго определенная роль "свидетеля", интервьюера, исключая не только проявление какого бы то ни было, даже внешнего интереса к моей личности с противоположной стороны, но даже и простого стимулирования разговора. После неловких, принужденных фраз о том, что я пришел увидеть своего любимого поэта, познакомиться с живым классиком и т. п., следовали весьма обескураживающие реплики вроде "ну, и что же увидели?.." или сказанное с жестом досады на надоевший комплимент или самоочевидную банальность: "какой я классик..." Прерывая очередную затянувшуюся паузу, я встал и хотел откланяться, но был остановлен жестом и словами: "Нет, нет, оставайтесь..." Не могу, правда, похвастаться, что мне при этом было сказано: "С вами так хорошо молчитесь" (прочитал впоследствии у одного мемуариста).

После несостоявшейся попытки бегства от "разговора с Медным Всадником" (образ этот, родившийся у искусствоведа М. В. Алпатова после встречи с Анной Андреевной, я нахожу необыкновенно удачным) беседа несколько оживилась. Речь зашла о Прусте, дипломную работу о котором я защитил в Московском университете в 1958 году. В то время бушевала холодная война не только в политической, но и в идеологической области, и имя Пруста, вместе с именами Джойса и Кафки, фигурировало в литературных конфронтациях как образец современного искусства, с одной стороны, и декадентского, упадочного творчества, с другой. Видимо, в связи с этими перепалками Анна Андреевна заговорила о степени современности Пруста и сказала, что Хемингуэй гораздо более современный художник: Пруст весь в быте, у него бабушка, дом, воспоминания, а Хемингуэй ("Прощай, оружие") показал, что человек в XX веке лишился всего - дома, быта, семьи, - гол, как перст. Мне это высказывание показалось несколько поверхностным, игнорирующим "конечный вывод мудрости земной" в конце "Поисков утраченного времени" (призрачность, тленность, эфемерность всего сущего в противоположность вечной жизни искусства), но я спорить не стал.

Еще более поразило меня суждение Ахматовой о "Докторе Живаго" Пастернака. Летом 1962 года я прочитал роман в зарубежном русском издании, нелегально ввезенном в Россию, и он буквально потряс меня, духовно переродил, сыграв решающую роль в последующем обращении в лоно православия. Анна Андреевна заявила, что считает роман слабым, за исключением мест, посвященных природе и чувствам героев (это "исключение" было мне особенно неприятно, поскольку оно повторяло вердикт редколлегии журнала "Новый мир". "Такие романы печатались в "Русском богатстве" и "Ниве", - добавила она. Что же! На это можно было бы заметить, что в "Ниве" печаталось и "Воскресение" Льва Толстого, но ведь для Анны Андреевны ни "великий ересиарх" (ее выражение, согласно В. Е. Ардову), ни сугубо его "Воскресение" не были указкой.

Когда я упомянул, что Пастернак очень сочувственно пишет о поэзии Ахматовой в своей "Автобиографии" (я и сейчас так считаю, несмотря на то, что выражено это не прямо, в суггестивно, в подтексте), Анна Андреевна дамски небрежно заметила: "Не очень..." С той же дамской небрежностью было сказано о мемуарах Вертинского, появившихся в журнале "Москва" - "наверное, пишет всякие глупости", но мое сообщение о том, что автор воспоминаний застал как-то Шаляпина размышляющим над ахматовским стихотворением "Нам свежесть слов и чувства простоту...", восприняла удовлетворенно.

Заметный интерес проявила Анна Андреевна к тому, что предмет моих аспирантских занятий Жан Расин. В ответ на слова, что этот драматург является величайшим французским поэтом, она стала декламировать, в присущей ей напевной манере, знаменитый монолог из второго действия "Гофоллии" ("Le songe d'Athalie"): ...Ma mère Jésabel devant moi s'est montrée... Анна Андреевна слегка шепелявила, как и на своей

недавней, первой крошечной советской пластинке в серии "Поэты читают свои стихи", что-то у нее было не в порядке с зубами (впоследствии этот дефект исчез), но я получил "царственный подарок": услышал Расина в исполнении той, кто вызывал ассоциации с Рашелью в роли Федры. Трудно сказать, почему Анна Андреевна вдохновилась монологом кровавой узурпаторши иудейского трона, истребившей на пути к нему собственных внуков; возможно, потому, что декламировать из "Федры" было бы слишком "в лоб" (заимствую выражение из черновики ее "Пролога"), но, может быть, "Гофолия" запомнилась лучше из гимназических лет, по Поливановскому параллельному русско-французскому изданию трагедии, хотя также не исключена и какая-то связь с размышлениями на "сновидческие" темы: как я узнал в одну из последующих встреч, Анна Андреевна недавно познакомилась с французской статьей, где толковалось о роли сновидений в ее поэзии и неоднократно повторялось ученое словечко "onirique", озадачившее как Анну Андреевну, так и запрошенного ею советского парижанина Илью Эренбурга.

Я рассказал, что, будучи сотрудником Рукописного отдела Ленинской библиотеки, занимался научным описанием двухтомного машинописного сборника стихотворений Ахматовой (впоследствии было установлено, что это один из экземпляров наборной рукописи неосуществленного издания 1928 года). Сборник находился в собрании Казимира Мечиславовича Добраницкого, которому Анна Андреевна в 1931 году написала его, как и свою фотографию работы Наппельбаума, вклеенную во 2-м томе. Мне ничего не удалось узнать о Добраницком во время работы над сборником, но я не считал себя вправе задавать прямые вопросы Анне Андреевне, она же на мое упоминание никак не прореагировала (вообще, она умела каменно молчать в тех случаях, когда разговор о "третьих лицах" был ей нежелателен - помню, что ни одним словом не обмолвилась о Сергее Спасском, когда я хвалил его стихотворение, обращенное к ней, и это был далеко не единственный случай). И адресат провоцирующей любопытство надписи на фото ("на память о нашей второй встрече"), добровольный или принужденный осведомитель ОГПУ из советской "золотой молодежи", льнувшей к "бывшим", оставался для меня долгое время загадкой.

Я также спросил у Анны Андреевны, в связи с замеченными мной расхождениями в датировке стихотворений между "кодексом Добраницкого" и печатными изданиями, когда в действительности написано "Не бывать тебе в живых..." - в 1914 (согласно сборнику "Anno Domini MCMXI") или в 1921 ("по Добраницкому") году. После небольшой паузы Анна Андреевна ответила: "В 1921-м" и добавила: "Но это не о том, о чем вы думаете" (слова эти помню буквально). Может показаться странным, но сказанное ею только укрепило меня в мысли о том, что стихи именно "о том, о чем я думаю" (связаны с расстрелом Н. С. Гумилева), и это впоследствии подтвердилось мемуарными записями самой Ахматовой.

Речь зашла и о другой рукописи: я рассказал Анне Андреевне о моем знакомстве с ее неопубликованной и не собранной в книги лирикой 1924 - 1946 годов, как и с "Поэмой без героя" в Ташкентской редакции, по машинописи из собрания А. М. Эфроса. Я опять-таки ожидал какой-то реакции на имя моего покойного учителя, профессора Эфроса, преданного в конце 40-х годов вместе с "бывшим другом" Ахматовой Н. Н. Пуниным официальной анафеме как представителя космополитического буржуазного искусствознания. Анна Андреевна полуспросила, полуконстатировала: "Вы его знали..." примерно таким же тоном, каким она произносила свое знаменитое: "Вы так думаете?.." и разговора не продолжила (а между тем они с Эфросом были знакомы с начала 20-х годов, сотрудничали в "Русском современнике" и в "Academia" и встречались вплоть до послевоенных лет).

"Произошло какое-то переосмысление отношений задним числом", - почувствовал я и впоследствии, прочитав "Вторую книгу" Мандельштам, подумал, что "пакостница" (Н. Харджиев) Надежда Яковлевна внесла в это свою лепту.

На прощание я получил автограф на принесенном мною издании Ахматовой "Из шести книг" 1940 года. Уже на пути к выходу (Анна Андреевна, несмотря на больные ноги, проводила меня до дверей своей комнаты) я несколько неожиданно для себя был приглашен бывать еще.

Дома, а потом и у И. М. Зусманович, меня подробно "допросили" о моем визите. Помню, родителей жены задело то, что Анна Андреевна ни в какой форме не откликнулась на "подношение" ей через меня их книг - о древнеегипетском искусстве (тестя) и об У. Блейке (тещи). К слову, одной из "пластинок" (повторяемых устных новелл тестя) был рассказ о том, как он в молодости служил под началом бывшего второго мужа Ахматовой Вл. К. Шилейко и как тот, командировав его в Ленинград, поручил зайти к Анне Андреевне и справиться о состоянии дел с переправкой в Москву оставшейся у Ахматовой части библиотеки Шилейко. Стоя в пролете двери и оставляя визитера на лестнице, "по которой сновали какие-то люди", Анна Андреевна "уперла руки в боки" и гневно крикнула: "Какие вам книги, нет у меня никаких книг...", после чего тесть, по его словам, "турманом скатился с лестницы" (теперь, зная некоторые обстоятельства отношений бывших супругов после их развода в 1926 году, я думаю, что серьезной цели у Шилейко не было - просто подстроил небольшой хеппенинг: для тестя? для себя?).

Вторая встреча состоялась накануне нового 1963 года, 29 или 30 декабря, и я уже не помню, почему так скоро после первой: кажется, надо было передать Анне Андреевне письмо от И. М. Зусманович с ее разбором "Поэмы без героя". Я был принят днем, засветло, в другой комнате, смежной с третьей (первая, в которой я побывал, была изолированной). Последовательности разговора я восстановить не могу, но речь шла, в частности, об А. И. Солженицыне. Он незадолго до этого (накануне?) побывал у Анны Андреевны, которая, конечно, уже читала недавно опубликованный "Один день Ивана Денисовича" и высоко оценивала это произведение не только с общественной, но и с литературной точки зрения (особенно она отмечала такую деталь, как оставленная Иваном Денисовичем про запас корочка хлеба). Как человек, Солженицын оказался Анне Андреевне симпатичен ("такой милый", сказала она мне; впоследствии эти же слова были сказаны ею и по адресу А. Д. Синявского), что не помешало ей в поэтическом даре Солженицыну отказать ("я ему сказала стихов никогда не писать"-так было заявлено мне; известно также, что Анна Андреевна советовала Солженицыну отказать от публикации прочитанной им ей поэмы, но он этому совету не последовал). Анна Андреевна показала мне болгарскую газету с напечатанным там интервью Солженицына, его первым интервью зарубежной прессе. Из того, что газета болгарская, я заключил, что хозяйка дома Н. Н. Глен в этом деле не сторона (она редактировала переводы с болгарского и сама переводила с этого языка).

Видимо, сам факт публикации "Одного дня Ивана Денисовича", "с высочайшего соизволения", произвел на Анну Андреевну большое впечатление. В очередной раз после смерти Сталина (сколько их было, таких "раз", начиная с Маленкова и его кратковременного министра культуры Пономаренко, первым заговорившего о свободе печати) казалось, что "все позволено". Истаивал сталинский запас страха, Анна Андреевна решила записать на бумагу "Реквием" и стала давать читать в своем присутствии. "Вы 54-й", - сказала она мне, протягивая машинопись (впоследствии, после отклонения "Новым миром", по не зависящим от редакции обстоятельствам, и публикации в Мюнхене, "без ведома автора", она пустила "Реквием" по рукам: стала дарить авторизованные машинописные копии, одну из которых, в 1963 году, получил и я). В этот же второй визит, когда она дала мне прочитать "Реквием", Анна Андреевна попросила хозяйку ("Ника!" вызвала она из другой, смежной комнаты) завести для меня пленку со стихами, прочитанными для Глен. Особого впечатления они на меня, как, впрочем, хотя и по другой причине, "Реквием", не произвели: помнится, там преобладала поздняя лирика "звездных блужданий", если прибегнуть к ядовитому, но меткому выражению Надежды

Мандельштам. Очень захотелось сделать иную запись - для себя и в своем выборе. И желание или язык опередили рассудок. Я прошу у Анны Андреевны разрешения в будущем записать ее и получаю согласие, почти не задумываясь о том, что записывать я не умею (это, впрочем, не помешало реализации проекта).

Я обратил внимание на висевшую на стене окантованную фотографию рисунка, изображавшего в условно-стилизованной манере возлежащую фигуру молодой женщины, в профиле которой, главным образом благодаря форме носа, можно было узнать Ахматову. Анна Андреевна сказала, что это фото с принадлежащего ей наброска Модильяни (я тогда уже знал о существовании рисунка, но познакомился с ним впервые). По словам Анны Андреевны, ее египтизированные черты встречаются и в скульптурах Модильяни, хотя знает она об этом с чужих слов. Я предложил ей помощь в разысканиях по каталогам и монографиям Модильяни, но она сказала, что этим занимается один ее знакомый.

Уже не помню, в какой связи речь зашла о М. А. Шолохове. Возможно, это были толки, принесенные одной литературной дамой, переводчицей персидской поэзии, недавно получившей у Анны Андреевны автограф на машинописной копии издания "Из шести книг". "В Швеции недоумевают, зачем он так часто ездит в Стокгольм", - сказала Анна Андреевна. Кроме иронии по поводу настойчивых напоминаний о себе Нобелевскому комитету со стороны "претендента", чувствовалась и ревнивая заинтересованность Анны Андреевны (известно, что ее кандидатура неоднократно обсуждалась комитетом).



*Анна Ахматова у фонтана "Молочница" в Царском Селе.
Фото с надписью на обороте*

Выполняя настойчивые просьбы своих домашних (по ряду причин мне не хотелось этого делать), я предложил Анне Андреевне познакомить ее с искусствоведом В. М. Василенко, репрессированным по политическим обвинениям в 1947-1956 гг. В лагере в Абези на Северном Урале Василенко находился вместе с Н. Н. Пуниным и присутствовал, как он говорил, при последних минутах Николая Николаевича. Передававшийся Василенко в качестве Пунинских, а также его собственные тогдашние высказывания не свидетельствовали об особенном пиетете перед личностью и творчеством Ахматовой. Анна Андреевна сразу же согласилась на встречу, и она вскоре состоялась. По словам Василенко, на ней присутствовала также внучка Н. Н. Пунина А. Г. Каминская. Когда Василенко рассказал о том, что у скончавшихся заключенных удаляли сердце, во избежание симуляции смерти и дальнейшего побега, А. Г. Каминская заплакала и хотела выйти. Анна Андреевна удержала ее за руку и сказала: "Это надо знать".

В эту же вторую встречу я передал Анне Андреевне свой новогодний подарок - около 10 пластинок с записями В. В. Софроницкого (прославленный пианист скончался за год до этого, и после его смерти стали широко издаваться его записи). В прошлый раз Анна Андреевна посетовала на то, что больные ноги не позволяют ей бывать в Филармонии (надо подниматься по лестнице), и мне захотелось "принести ей музыку в дом". "Ведь у меня нет...", - и Анна Андреевна жестом изобразила вертящийся диск проигрывателя, но подарок взяла и потом увезла с собой в Ленинград, а не оставила *in situ*, как делала иногда с ненужными подношениями типа книг с авторскими надписями (из этих "невысказанных" изданий впоследствии составила целая библиотека). И даже, согласно мемуаристам (А. В. Любимовой и др.) нередко слушала пластинки в Комарово (для чего был взят проигрыватель в Комаровском пункте проката). О самом же Софроницком Анна Андреевна ничего не сказала. Возможно, в ее круге он "не котирировался" (там царил Рихтер, так же, как, скажем, к высшим музыкальным достижениям XX века относили Стравинского и Шостаковича, как бы забывая о Прокофьеве). К слову о Стравинском: еще в первую встречу я спросил у Анны Андреевны, не встречалась ли она с ним во время его недавнего приезда на родину. "Но он не выражал никакого желания со мной встретиться", - ответила она, а затем в какой-то связи вспомнила его вторую жену В. А. де Боссэ-Шиллинг ("по прозвищу Бьяка", как сказала Анна Андреевна), но о том, что "Бьяка" сменила ее подругу Ольгу Афанасьевну в качестве жены Сергея Судейкина не упомянула. Надо сказать, что я был крайне удивлен, прочитав уже в наши дни упоминание, исходившее из ближайшего окружения Анны Андреевны (Бродский), о том, что Стравинский посетил ее в сентябре 1962 года.

Если мне не изменяет память, до февраля 1963 года я больше с Анной Андреевной не встречался, а в феврале позвонил ей, откликнувшись на приглашение, переданное через В. М. Василенко (на этот раз Ахматова остановилась у Ардовых). Я неосторожно напомнил Анне Андреевне о ее обещании "подарить" мне свой голос, и она сказала: "Приезжайте". - "Когда?" - "Сейчас", после чего трубка, как у нее водилось, была немедленно брошена. Повторяю, я не имел никакого отношения к звукозаписи, а потому был близок к отчаянию. Но "русский авось" или "русский Бог" меня не подвели. Звоню из города домой тестю, он связывается со своим коллегой по увлечению певчими птицами биофизиком Б. Н. Вепринцевым, "охотником" за голосами птиц в природе, и тот, как теперь сказали бы, "встав на уши", подкатывает с аппаратурой на такси на Большую Ордынку. Уму непостижимо, как я еще успел, пока шли розыски Вепринцева, побывать дома и сделать отбор стихотворений для читки. Начал я с не собранной или не опубликованной к тому времени Ахматовой 1924-1946 годов, наметив "Третий Зачатьевский", "Новогоднюю балладу" и "Последний тост". Раннюю Ахматову я представил "Белой стаей" и "Anno Domini MCMXXI", отчасти потому, что знал о ее афишируемой неприязни к двум своим первым сборникам "Вечер" и "Четки", отчасти из-за собственных пристрастий. И по сей день я несколько об этом не жалею. В порядке

исключения или особой милости Анна Андреевна впоследствии читала отдельные пьесы из "Вечера" и Четок", но вот "Белую стаю", самое классичное, если не классическое из ее созданий, ей никто больше дать не догадался. По крайней мере, мне неизвестны другие записи "Вместо мудрости", "Не тайны и не печали", "Молитвы", "Так раненого журавля", "Двадцать первое". Из "Anno Domini MCMXXI" я выбрал только "Небывалая осень", руководствуясь не только эстетическими, но и этическими соображениями: не хотелось давать читать старому человеку напоенные душевной любовной страстью стихи этого сборника. Но я не избежал другой бестактности (по молодости, конечно). После "Разрыва" и "Клеопатры" (из сборника "Ива") я хотел, чтобы в авторском исполнении прозвучало одно из посвящений к "Поэме без героя" - "И ты ко мне явилась знаменитой..." Анна Андреевна наотрез отказалась: "Я его теперь не люблю". Думаю, она лукавила: не могла она не любить одного из лучших своих стихотворений, в котором почти неуловимо, неосознанно сменяются тональность, стилистика, интонация высокого и прозаического, возвышенного и обыденного, поэтического и разговорного и которое заканчивается такой детски беспомощной, жалобной мольбой к своему собственному детищу: "Спаси ж меня, как я тебя спасала, / И не пускай в клокочущую тьму". Просто не хотелось семидесятичетырехлетней женщине лишний раз заклинать смерть. И вместо посвящения Анна Андреевна прочитала уже звучавший на ее недавней первой пластинке пассаж из "Поэмы без героя" - "Были святки кострами согреты...", за который, в числе других аналогичных, она удостоилась звания "мастера исторической живописи" от "самого" Корнея Чуковского.

Но в целом судьба была ко мне необыкновенно благосклонной. Ведь когда Вепринцев готовился к записи, Анна Андреевна заявила, что будет читать то ли цикл "Шиповник цветет", то ли еще что-то "звездное", но, к счастью, под рукой этого не оказалось, а то было бы одной записью "блужданий" больше, их и так не мало. Заметив у меня в руках принесенные сборники и устало махнув рукой, Анна Андреевна сказала: "Ну, что там у вас...". Вепринцев настроил аппаратуру и попросил произнести что-нибудь, "какой-нибудь звук". - "Звук?" - отстраненно переспросила она, хотя до этого с Вепринцевым даже шутила ("Раньше записывали птиц, а теперь меня"). Началась запись. Читала Анна Андреевна с подъемом, даже приготовления к обеду в гостиной, прилежавшей к комнатке, где шла запись, стук ножей, вилок и громкий голос М-ме Ардовой, слышные на фоне, не отвлекли ее (возможно, из-за глухоты). Особенно вдохновенно прозвучала "Молитва" ("Дай мне долгие годы недуга..."). Написанное в годину тяжелых испытаний войны 1914-1918 годов, это стихотворение, в сущности, может быть отнесено к любой туче "над скорбной Россией", будь то "нашествие иноплеменников", безбожная власть или "междоусобная брань". И, конечно, именно поэтому "Молитва" была пропущена при издании с пленки советской пластинки в 1969 году.

Вспоминая этот день, я хотел бы добавить, что Б. Н. Вепринцев (впоследствии профессор Московского университета, ныне покойный), будучи студентом, подвергся политическим репрессиям и находился в одном лагере с сыном Анны Андреевны Л. Н. Гумилевым, взявшим его по прибытии под свое покровительство - давшим место на нарах и т. п. Вепринцев, по свойственной ему деликатности, о своем знакомстве Анне Андреевне умолчал.

Вскоре после этой встречи Анна Андреевна уехала в Комарово, но не в свою "будку", не приспособленную для зимнего проживания, а в писательский "дом творчества", где за ней присматривала ее невестка Х. В. Горенко. Она сочинила там "Предвесеннюю элегию", которую продиктовала мне в подарок в апреле 1963 года на Ордынке. Диктуя, Анна Андреевна краем глаза внимательно следила за тем, как я писал. В эпиграфе из Жерара де Нерваля ("El Desdichado") я воспринял прямое дополнение "меня" в женском роде: "...toi qui m'as consolée (... ты, который меня утешил)" вместо Нервалевского "...toi qui m'as consolé (... ты, которая меня утешала)", и это никакого протеста у Анны Андреевны не вызвало; мне даже показалось, что она отметила это про себя с удовлетворением, и не

потому ли впоследствии обратилась ко мне, когда ей понадобилась срочная помощь по части французского языка? Эпиграф оставался в своем "первобытном" виде вплоть до издания "Стихотворений и поэм" Ахматовой под редакцией академика Жирмунского, оговорившим в комментарии авторское отступление от Нерваля, но последующие издатели поправили Ахматову, войдя в противоречие с текстом стихотворения.

Ближе к лету, а может и в начале лета, Анна Андреевна позвонила мне, а когда я пришел, дала мне снять копию с очередного, "отменяющего все предыдущее", варианта "Поэмы без героя". Но, подобно Бальзаковскому Френхоферу, она не могла остановиться в работе над своим "неведомым шедевром" и, уже короткое время спустя, продиктовала мне, как мне показалось, избыточную новую вставку во вторую часть ("Решку") о "посланце давнего века", из-за которой пришлось не к лучшему изменить строфу об "охапке мокрой сирени" от незнакомца "из грядущего века". И, кажется, о том, что это изменение не к лучшему, я Анне Андреевне сказал (как и сказал как-то, что не к лучшему "мир жесток и пуст" вместо "жесток и груб" и соответственно, для рифмы, "уст" вместо "губ" в "Последнем тосте"; слава Богу, от "жесток и пуст" она впоследствии отказалась). Вообще же, оценок ее произведений я избегал, тем более что ее творчество самых последних лет не всегда вызывало во мне отклик, а иногда и озадачивало, как, например, прочитанный ею мне отрывок из пьесы "Пролог" ("Сон во сне"), которую она намеревалась создать в новой редакции (первую, созданную в Ташкентской эвакуации, она, как говорила, уничтожила, не решаясь хранить, по возвращении в Ленинград). В этом отрывке во время судилища над героиней в воздухе появляется портрет Сталина, привешенный к мухе (мне эта попытка театрального сюрреализма показалась претенциозной, но я промолчал). В связи с "Прологом" зашла речь о Ташкентской эвакуации, и Анна Андреевна очень неприязненно вспомнила о С. М. Городецком, с которым она проживала в одном "писательском" доме и который устраивал шумные скандалы, если у нее оставались ночевать "непрописанные" ("за мной после тифа ухаживала моя знакомая", сказала Анна Андреевна, имея в виду, конечно, Н. Я. Мандельштам). Узнав, что я родом из Ташкента, Ахматова спросила: "А на какой улице вы жили?" - "На Энгельса". - "А по-настоящему как?" - "На Московской". Анна Андреевна удовлетворенно кивнула головой. Мне это напомнило о самодельном объявлении военных лет в Ташкенте, на телеграфном столбе: "Продаются часы настоящие, Николаевские".

После лета 1963 года последовал длительный перерыв в моих встречах с Анной Андреевной. Конец ему был положен ее звонком поздней зимой или ранней весной 1964 года. Раздался этот звонок чуть ли не посреди ночи: Анна Андреевна просила приехать на другой день помочь: надо было вписать французский текст в машинопись ее воспоминаний о Модильяни, которую официально признанный "патрон" Ахматовой А. А. Сурков должен был увезти в тот же день в Италию для публикации. Утром, перед выходом из дома, я позвонил по данному мне телефону, чтобы узнать адрес. "Я остановилась на улице Мира", - сказала Ахматова вместо "проспекта Мира", и я мгновенно почувствовал скрытую иронию: очень уж была и остается непохожей бывшая Первая Мещанская на парижскую Rue de la Paix.

На этот раз я видел Анну Андреевну в новом интерьере. Ее приютила вдова поэта и переводчика Георгия Шенгели. Обстановка дома была гуманитарная, интеллигентная - книжные шкафы и т. п. Но Анна Андреевна была чем-то недовольна, вполне может быть, только дочерью хозяйки, которая посмела какому-то французу, спросившему Ахматову по телефону, без обиняков брякнуть, что "она спит" ("Elle dort"). Почему-то Анне Андреевне это казалось неприличным.

Помню, что я принес Анне Андреевне нарциссы, которым она неподдельно обрадовалась, она их любила ("и библейских нарциссов цветенье", "и нарцисс в хрустале у тебя на столе"). Она рассказала мне о недавно прошедшем в музее Маяковского в Гендриковом переулке вечере, посвященном ее поэзии (в ее отсутствии: видно, после

восторженного приема, оказанного ей публикой в 1946 году в Колонном зале и вызвавшего гнев Сталина, она решила никогда не давать повода к общественным манифестациям в свою честь).

Я позволил себе поиронизировать по поводу вечера Ахматовой в музее Маяковского, сказав, что это напоминает конец Прустовских "Поисков утраченного времени", когда сошлось несоединимое, "сторона Свана" и "сторона Германтов". Анна Андреевна сначала закивала, улыбнулась, но потом сказала: "Ну, почему же..." Или знакомство по "Бродячей собаке" казалось ей достаточным основанием для этого возражения, или, вслед лукавому К. Чуковскому, она действительно уверовала в то, что у России Ахматовой и у России Маяковского может быть что-то общее?

Я быстро привел в порядок машинопись очерка "Амедео Модильяни", и затем Анна Андреевна рассказала мне, из-за чего сыр-бор разгорелся. Акция Суркова связана с тем, что ей присуждена поэтическая премия Европейского сообщества писателей (она показала мне письмо, извещавшее об этом, за подписью руководителя Сообщества итальянца Джанкарло Вигорелли). Премия называется "Этна - Таормина". Никто ничего толком ни о премии, ни о Таормине, кроме того, что она находится вблизи вулкана Этна в Сицилии, сказать не может (и слава Богу, можно добавить сегодня - знай Анна Андреевна, что Таормина в течение десятилетий была той Аркадией, где Вильгельм фон Глэден мог черпать мотивы своих гомоэротических фотобуколик, она могла бы туда и не поехать). Впрочем, и в нашу встречу она сказала: "Я, конечно, никуда не поеду". Я буквально взмолился: "Анна Андреевна, вам надо ехать". - "Но вы забываете о моих ногах" (а ведь она еще ничего не знала о той лестнице, которая ведет к замку в Катании, где ее будут чествовать, как Петрарку на Капитолии). - "Вам надо ехать", - повторил я и добавил: "И еще, по вашим словам, Италия это сновидение, которое помнишь всю жизнь". Она улыбнулась.

Затем Анна Андреевна рассказала о том, что "Новый мир" готовит к публикации подборку ее стихов и статью о ее творчестве А. Д. Синявского (приближалось ее 75-летие). Она прочитала мне стихотворные отрывки из "Пролога", намеченные к публикации, и сцену с портретом Сталина, о которой я уже упоминал. В связи со статьей Синявского заметила: "Там все неверно, я ему так и сказала, хотя он очень милый, не хотелось его огорчать. Обо мне верно писал только Недоброво, в его статье 1915 года предсказано все мое дальнейшее развитие".

Вскоре после встречи на "улице Мира" я побывал у Анны Андреевны на Ордынке, и меня несколько удивил визит к ней Л. И. Толстой, вдовы А. Н. Толстого. "Придет графиня Толстая", - сказала Анна Андреевна. "Графиня толстая Толстая?" - спросил я, вспомнив Андрея Белого. "Нет, нет, не толстая", - улыбнулась Анна Андреевна. Удивил меня визит потому, что Анна Андреевна уже давала мне читать в своем присутствии мемуары о Мандельштаме (помнится, на "улице Мира") и в них арест Мандельштама в 1934 году, если и не был поставлен в прямую связь с пощечиной, данной им Толстому, то находился в контексте этого инцидента. Впоследствии я читал несколько редакций воспоминаний Ахматовой о Мандельштаме, и ни в одном из них инцидент с пощечиной уже не упоминался. Повлияли ли на это как-то визиты "графини Толстой"? Впрочем, Анна Андреевна отношений с Толстым не разрывала и даже, согласно И. Чапскому, бывала в его доме в Ташкенте, чего, надо думать, никогда не стала бы делать, если бы считала его причастным к аресту Мандельштама.

Последняя моя встреча с Анной Андреевной относится к июню 1964 года. Было это 21 июня, за два дня до ее 75-летия. Я пришел в квартиру Любви Давыдовны Большинцовой (Стенич), в Сокольниках. Чувствовалось, что Анне Андреевне здесь хорошо. Единственное, на что она пожаловалась, это на четвертый этаж без лифта. Зато Л. Д. (для Анны Андреевны "Любочка") и ее мать были вполне "свои люди". Анна Андреевна сказала, что собирается "встретить" день своего рождения в поезде "Москва - Ленинград", выехав на самом исходе 22 июня. Было понятно, что ей хочется избегнуть

оскорбительного невнимания или еще более оскорбительного полувнимания к этой дате со стороны московского союза писателей (с большой иронией она рассказывала, как только что собирали среди писателей деньги то ли на охотничье ружье, то ли на портсигар писателю Соколову-Микитову).

Предчувствия Анну Андреевну не обманули. Не знаю, как московский, а ленинградский союз в лице его руководителя "поэта-лауреата" Прокофьева поздравил Анну Андреевну... в августе 1964 года.

После этой встречи мне довелось еще видеть Анну Андреевну в сентябре 1965 года со сцены Большого театра. Был Дантовский юбилей. Она сидела в президиуме вместе с министром культуры Фурцевой и другими советскими нотаблями и перелистывала заготовленный текст выступления, мусоля пальчик (мою жену этот жест растрогал до глубины души; я же сказал бы, что это было немного не в "стиле", пусть даже и намеренно). Сменялись докладчики и ораторы. Один из них, говоривший о Данте и русской литературе, остановился на его образе в поэзии Ахматовой и, повернувшись в ее сторону в полупоклоне, как бы пригласил зал к аплодисментам. Они раздались, не шумные, с достоинством, но продолжительные. Затем наступил черед писательских выступлений. Затравленно озираясь по сторонам, скованной походкой на авансцену вышел К. Гамсахурдиа, отец будущего первого, свергнутого президента Грузии. Он что-то говорил о прозрении в Дантовском "Аде" кошмарного XX века. Слово предоставили Анне Андреевне. Пользуясь привилегией своего пола и возраста, она не стала выходить из-за стола, за которым сидела, а, поднявшись, прочитала небольшую речь, где, в частности, сказала, что Данте был одним из тех знамен, под которыми вступили в литературу она и ее друзья - и она произнесла "нецензурные" тогда имена Гумилева и Мандельштама. Ясно было, что для этого она сюда и пришла. Напоследок Ахматова прочитала свое "Он и после смерти не вернулся..." Проводили ее столь же корректными, как при упоминании ее имени в докладе, аплодисментами.

После этого вечера был выход итоговой Ахматовской книги "Бег времени", на которую советская пресса не откликнулась ни одной рецензией, привет, переданный мне Ахматовой через В. М. Василенко, известие о ее тяжелой болезни, моя новогодняя открытка ей к 1966 году и телеграмма моей жены в Махачкалу, где я недолго преподавал, о кончине Анны Андреевны.

Все это "не позабылось покуда, и надо думать, навсегда".

9 мая 1994 г. Нюрнберг
